

Гравра. — 1991. — 13 июня. — с. 5

Этот очень русский француз

Мы сидим с ним в «его» кафе в Латинском квартале за шатким столиком, на котором каждый раз, когда проходит мимо официант, подрагивают два бокала с терпким «Бордо». Разговор поначалу не клеится. Ощущение, что между нами — незнакомое поле, где мин куда больше, чем троп.

Мы с ним примерно одного поколения. Я вернулся в Москву, поработав после института на Камчатке в 1964 году. Он приехал в столицу из Харькова в 1967-м. Мы жили в одном городе, в одной стране, в одно и то же время, но в двух, совершенно разных измерениях. Я работал в партийной печати, он — в литературном подполье. Я печатался в «Комсомолке» и «Правде». Его стихи и проза — исключительно методом «самиздата».

Наши представления о служении Отечеству были диаметрально противоположными. Незнакомые, мы друг другу противостояли. И не приди апрель 85-го, наверное, никогда не протянули бы друг другу руку, как сейчас. Впрочем, пора представить собеседника. Это — Эдуард Лимонов. Он говорит:

— Да, я начинал в «самиздате», а он — теперь об этом забыли — начинался со стихов, с картин, а не с политики, как сейчас считают. Культурная часть «самиздата» погибла, была погребена под глыбами диссидентства. Помню, у нас еще в 1964 году в Харькове «в списках» ходил Бродский. Читали жадно Горбовского, других ленинградских, московских поэтов. Когда я приехал в 1967 году в Москву, то сразу же начал искать СМОГ (Союз молодых гениев). Я знал, что смогисты существуют, хотя о них официально никто не говорил, как и о других возникших в 60-х годах литературных школах, целых направлениях в искусстве. Я хотел быть с ними, чтобы писать лучше, и писал, как одержимый. По десять часов в сутки. При этом я совершенно не пытался печататься. Дороже всего для меня была похвала тех, с кем общался.

— В литературном подполье гонимых, как я понимаю, вам не платили. Но даже в конце 60-х, когда в Москве все стоило копеечки, их надо было иметь, чтобы как-то существовать...

— Я приехал в Москву с женой. Но прописки ни у меня, ни у нее не было. Приходилось снимать комнату «по-черному». А заработать было практически невозможно. Мы вели совершенно героическую, вангогистскую жизнь... Чтобы как-то существовать, я в Москве шил брюки. Что я умел делать, то и делал. Я помню, Борис Слуцкий, когда меня познакомил с кем-то, представлял так: «Вот поэт, который шьет брюки». И я шил брюки сотрудникам журнала «Смена», «Литгазеты», даже Булату Окуджаеву и Эрнсту Неизвестному.

— Наши «официальные» писатели интересовались вами лишь как портным?

— Я целую зиму протолкался у подъезда Дома писателей, пытаясь туда попасть. Не в ресторан, а на семинар. Но у меня не было там никаких связей и меня гнали оттуда. Туда даже пройти нельзя было. Сейчас, кста-

ти, то же самое. Мне, собственно, Союз писателей был не нужен. Были нужны эти семинары. И все же я пробился — случайно, встретив свою знакомую по Харькову. Она была старостой на семинаре Арсения Тарковского. И вот на его-то семинар я и ходил целую зиму 1967/68-го. Потом наши семинары закрыли.

— Как вы уехали?

— Очень просто. Как многие тогда уезжали. Я имел наглость быть свободным человеком. Я считал, что можно ходить свободно в иностранное посольство, когда тебя туда приглашают, и ни у кого на то разрешения не спрашивать. Одновременно с этой вредной по тем временам привычкой я влюбился в жену известного художника Лену Шапову. Она еще тогда ездила в белом «Мерседесе». Этот роман закончился тем, что в октябре 1973 года она ушла ко мне, и мы закатали свадьбу на рю... то есть на улице Брюсова, в той самой церкви, что рядом с улицей Горького. Там была масса иностранцев и мои друзья-смогисты. В общем, церковь была набита такими людьми, что через неделю за мной пришли... Я, конечно, трусил, как все люди, когда шел на Лубянку. Но, с другой стороны, как писателю мне это было ужасно интересно. И вот там человек с пронзительными глазами, видимо, большой начальник, сказал: «А почему бы вам не уехать?». Я спрашиваю: «Куда?» А он говорит: «Подайте заявление на выезд в Израиль. Мы вам не будем чинить препятствий».

Я еще пытался как-то задержаться и даже посылал свои стихи в разные журналы. Но это было безнадежное дело...

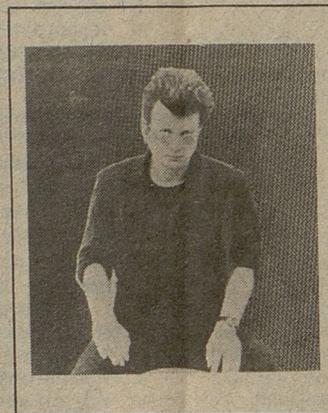
Я не люблю об этом рассказывать, потому что не люблю себя чувствовать жертвой. Я не хотел и думать об отъезде. Для русского человека с русской женой в 70-х годах это было просто невозможно. Но потом мы обсудили и решили: а почему бы не использовать эту возможность?

И хотя я прожил нелегкую

жизнь в Советском Союзе, полуголодную, полубездомную, тем не менее я все же был избалован даже нашей бедностью. Потому что эта бедность была достаточно своей, на своей почве. С западной не сравнить.

В 1976 году вместе с одним приятелем написал я «Открытое письмо Сахарову». Мы писали, что он идеализирует Запад, что здесь масса проблем и судить о Западе надо не по книгам и газетам, а по личному опыту. В США все это «письмо» отказались печатать. Только лондонская «Таймс» согласилась и напечатала в пересказе.

В мае того же года мы устроили перед «Нью-Йорк таймс» де-



что я «Новое русское слово» не поджигал. Им нужно было меня пощупать, посмотреть, как я веду себя.

— Во Франции к вам отнеслись благосклоннее?

— Как вам сказать. Я подал прошение о получении французского гражданства в конце 1986 года. Мне дважды отказывали. И это несмотря на то, что я был уже достаточно известным писателем, платил здесь налоги с гонимых, полученных за свои книги. Я разлился и, как настоящий советский человек, на-

«Моя душа принадлежит России»

монстрацию протеста против того, что они наши материалы отказывались публиковать. К нам подходили негры, работяги и говорили: «Ребята! А что же вы думали раньше? Думали, что в Америке есть какая-то свобода? Ха-ха. Если у тебя есть доллары, у тебя есть свобода, понимаешь?» Тогда-то, кстати, мне впервые пришлось столкнуться с ФБР. Человек со значком этой организации попытался нашу демонстрацию «закрыть». С тех пор они, видимо, следили за мной весьма пристально, потому что после того, как «Известия» и, кажется, еще «Правда», а затем «Неделя» опубликовали обширные выдержки из моей статьи «Разочарование» (имеется в виду разочарование наше, бывших советских граждан, в западном и конкретно — американском образе жизни), напечатанной в нью-йоркском «Новом русском слове», где я тогда работал, к хозяйину этой газеты пришли два типа весьма «секретного» вида. И на следующий день он меня уволил.

Потом, в 1977 году, когда эту газету кто-то поджег, меня вызывали в ФБР «на беседу», хотя, конечно, там прекрасно знали,

писал «Письмо в газету». В «Либерабсона». Потом в «Матэн». И они это опубликовали. Обо мне писала даже «Юманите». За меня вступились 120 французских писателей во главе с Франсуазой Саган, философом Леотаром и другими.

Спасибо им. В июле 1987 года гражданство мне все же дали.

— У вас вышло уже более десятка книг...

— Двенадцать. И они переведены на многие языки. Мои книги выходили в США, Франции, ФРГ, Голландии, Греции, Италии. Даже в Югославии — в Загребе. Первый же роман был переведен на все европейские языки.

— Почему вы ввязались во внутривнутриполитическую драку в нашей стране?

— Во-первых, это и моя страна тоже. В сентябре 1990 года, не обнаружив своей фамилии в списке 25 «реабилитированных» Верховным Советом СССР изгнанников 70-х годов, я обратился в советское консульство в Париже с требованием вернуть мне гражданство СССР. Жду ответа из Москвы до сих пор. Ну а во-вторых, я стал по-

сылать статьи в советские газеты в первую очередь потому, что в них печатали массу глупостей о западной действительности. А уж я эту действительность знаю, в том числе США в первую очередь, получше академика Арбатова, смею вас уверить.

Сейчас же я оказался в спокойном положении человека, который, будучи русским, с определенным воспитанием, не может не ощутить себя на перепутье. Потому что душа моя принадлежит России. Я ощущаю зов крови. А это далеко не все понимают. Я был и остался русским патриотом, таким же, какими были М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой. Родина есть родина, и абсолютно ненормально не защищать ее.

— Ситуация у нас меняется быстро. Что вы думаете о сегодняшних событиях в СССР?

— Советский Союз напоминает сейчас некоего больного, которого пытаются вылечить, навязывая ему все большую дозу демократии. Она у него уже горлом идет, отравляет организм, а его убеждают, что если принять еще большую дозу, то дело пойдет на поправку, он встанет и побежит. Я уверен, что нет. Больной может от этой сверхдозы умереть.

Сейчас проблема многовластия, на мой взгляд, самая страшная. Я подсчитал, что где-то около пяти-шести тысяч человек профессионально занимаются в СССР растаскиванием власти. По крайней мере с 1990 года надо уже говорить о борьбе между людьми, которые стремятся отстоять государство, с одной стороны, и людьми, которые, может быть, даже не преследуя специально такой цели, своими действиями его разрушают, — с другой.

Я ведь не просто за государство. Я понимаю, что потеря государства — это конец всего. В этом смысле я люблюсь французским государством, которое строилось бережно, многими поколениями людей. Даже де Голль, который пришел в 1944 году к власти, не провозгласил заново республику, хотя ему это и предлагали. Он не хотел прерывать историческую связь, несмотря на то, что в этой республике во время оккупации существовал режим Виши.

Французы по опыту своей тысячелетней истории понимают, как легко государство можно развалить на части, а потом собрать. А у нас бросаются из одного эксперимента в другой. И более того, тогда, когда национальная идеология рухнула, а другой не придумали. Вот человек и хватается за то, что у него есть под рукой, — за родовые

инстинкты, за националистическую идеологию. Без идеологии народы жить не могут, должны быть правила поведения, традиции.

— Самая примитивная идеология — это национализм. Человек вышел из пещеры уже со своим чувством «национальной принадлежности». И в придачу к этому — с ненавистью к чужаку, с агрессивностью. В результате — насилие, кровь, братоубийство...

— Этого никогда нельзя было допускать. Это плата за разрушение истории, очернение прошлого. История — это коллективный миф народов. Можно, например, по-разному толковать историю русско-грузинских отношений. Но есть Багратион с Бородинским полем и Кантария, поднявший вместе с Егоровым знамя над рейхстагом. Вот это-то и постарались забыть. Забыли, что Грузия сама просилась в состав России, спасаясь от набегов Ирана, а вспомнили, что грузинские меньшевики провозгласили независимость Грузии. Так остается пустое место, которое заполняет национализм.

Если подобную операцию по размыванию общенациональной идеологии произвести в США, например, первыми отпочкнутся Гавайи, затем начнется борьба за отсоединение Калифорнии, Испанской Америки, за отдельное негритянское государство и т. д. Во Франции, случись такое, — отделиться Корсика, потом Бретань. Этого здесь не допускают и не допускают. А у нас допустили. И вот результат.

— Традиционный вопрос в заключение: над чем вы сейчас работаете?

— Готовлю к печати роман. Он выйдет в сентябре в парижском издательстве «Рамсей». Это роман как раз о моей последней поездке в Москву. Произведение грустное. В конце я практически раскрываю все фамилии, снимаю маски. Кто-то уже успел умереть, кто-то жив... Это роман о визите в развалины прошлой жизни, в разоренный дом.

— Ужели все и впрямь так безнадежно?

— Безусловно, то, что мы наблюдаем сейчас, — это катастрофа. Но это тоже дает определенный опыт. Хотя, конечно, цинично говорить, что, мол, и такой опыт нужен людям, нужен государству. Ведь люди проходят через период действительно страшного хаоса. Но я уверен, что Россия выйдет из него умнее и сильнее. Думаю, что это неизбежно.

В. БОЛЬШАКОВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Париж, июнь.